

## Текст №1.

Чистая детская наивность, инстинктивное желание добра и справедливости сопровождает нас, когда мы углубляемся в дебри невымышленной жизни, в которой добро и припаздывает, и ошибается адресом, а в некоторых случаях просто не является, будто позабыв о своей обязанности расправиться со злом.

Но детство сопровождает нас не так долго, как хотелось бы. И постепенно наивность превращается в ограниченность, а святое желание справедливости – в обыкновенную нравственную самооборону, когда человек походит уже не на малого ребёнка, а на взрослого страуса. И хочется ему, чтобы всё на свете было хорошо при помощи того, что голова кладётся под крыло и думает о совершенстве, закрыв глаза. И хочется, чтобы ничего не происходило такого, на что нужно тратить душу, нервы, сердце.

Так вот для тех, кто не хочет нравственных затрат, существует и соответствующая литература. Там всё на месте. Там зло маленькое, как муха, а добро большущее, как лист липучки. И с самого начала муха вязнет в этом листе, и с первой строчки ей хана. Там зло глупое, как пень, а добро умное, как лисица. А лисица любой пень обдурит.

Бывают книги, наполненные подобием страстей, подобием борьбы, подобием любви. Подобие борьбы приводит к подобию победы, и кажется, будто всё это – настоящее.

Но мы умеем читать. Мы понимаем, что чтение – это не просто составление слов из букв, это – удивительное дело, которое делает читающего соучастником событий и тайн, действий и чувств.

Есть книги, которые нам известны ещё до того, как мы их прочтём. Мы знаем, чем они начинаются и каков их конец. Но мы проникаем в эти книги всякий раз как первопроходцы. Они ведут нас по своим странным дорогам – знакомым и всё-таки незнакомым, и приводят к своим тайнам, известным нас с детства. Мы проходим их прилежно и послушно. Но каждый раз мы видим подробности этих дорог по-новому.

И чем меньше мы тратим себя на этих дорогах – тем меньше видим.

Добро всегда побеждает зло, и никому ещё это не надоедало. Но добро – не липучка для мухи. Добро – это то чувство, которое вызывает у нас книга. Мы оплакиваем героя, и это – добро. Мы хохочем над глупостью, и это – тоже добро. Мы сочувствуем неудачнику, презирая негодея, симпатизируя простодушию, - и всё это добро, которое побеждает зло.

Книги – как люди. Их нужно понимать, принимать или остерегаться.

Но мы умеем читать. Мы умеем тратить себя на дорогах книг. Мне кажется, книги делают за нас то, что не сделали мы потому, что не сумели. Они видят то, что увидели бы мы сами, если бы были внимательнее. Мы не бережём себя – ни над драмой, ни над весёлой историей потом, что книга – это жизнь, а жить, не тратясь, нельзя. Это и есть – добро, которое, бывает, припаздывает в книгах, как и в жизни, но никогда не опаздывает в нашем сердце...

*Л.Лиходеев*

## Текст №2.

Софья Ивановна, как я ее после узнал, была одна из тех редких немолодых женщин, рожденных для семейной жизни, которым судьба отказала в этом счастье и которые вследствие этого отказа весь тот запас любви, который так долго хранился, рос и креп в их сердце для детей и мужа, решаются вдруг излить на некоторых избранных. И запас этот у старых девушек такого рода бывает так неистощим, что, несмотря на то, что избранных много, еще остается много любви, которую они изливают на всех окружающих, на всех добрых и злых людей, которые только сталкиваются с ними в жизни.

Есть три рода любви:

- 1) Любовь красивая,
- 2) Любовь самоотверженная и
- 3) Любовь деятельная.

Я говорю не о любви молодого мужчины к молодой девице и наоборот, я боюсь этих нежностей и был так несчастлив в жизни, что никогда не видал в этом роде любви ни одной искры правды, а только ложь, в которой чувственность, супружеские отношения, деньги, желание связать или развязать себе руки до того запутывали самое чувство, что ничего разобрать нельзя было. Я говорю про любовь к человеку, которая, смотря по большей или меньшей силе души, сосредоточивается на одном, на некоторых или изливается на многих, про любовь к матери, к отцу, к брату, к детям, к товарищу, к подруге, к соотечественнику, про любовь к человеку.

Любовь красивая заключается в любви красоты самого чувства и его выражения. Для людей, которые так любят, — любимый предмет любезен только настолько, насколько он возбуждает то приятное чувство, сознанием и выражением которого они наслаждаются. Люди, которые любят красивой любовью, очень мало заботятся о взаимности, как о обстоятельстве, не

имеющем никакого влияния на красоту и приятность чувства. Они часто переменяют предметы своей любви, так как их главная цель состоит только в том, чтоб приятное чувство любви было постоянно возбуждаемо. Для того чтобы поддержать в себе это приятное чувство, они постоянно в самых изящных выражениях говорят о своей любви как самому предмету, так и всем тем, кому даже и нет до этой любви никакого дела. В нашем отечестве люди известного класса, любящие красиво, не только всем рассказывают про свою любовь, но рассказывают про нее непременно по-французски. Смешно и странно сказать, но я уверен, что было очень много и теперь есть много людей известного общества, в особенности женщин, которых любовь к друзьям, мужьям, детям сейчас бы уничтожилась, ежели бы им только запретили про нее говорить по-французски.

Второго рода любовь — любовь самоотверженная, заключается в любви к процессу жертвования собой для любимого предмета, не обращая никакого внимания на то, хуже или лучше от этих жертв любимому предмету. «Нет никакой неприятности, которую бы я не решился сделать самому себе, для того чтобы доказать всему свету и ему или ей свою преданность». Вот формула этого рода любви. Люди, любящие так, никогда не верят взаимности (потому что еще достойнее жертвовать собою для того, кто меня не понимает), всегда бывают болезненны, что тоже увеличивает заслугу жертв; большей частью постоянны, потому что им тяжело бы было потерять заслугу тех жертв, которые они сделали любимому предмету; всегда готовы умереть для того, чтоб доказать ему или ей всю свою преданность, но пренебрегают мелкими ежедневными доказательствами любви, в которых не нужно особенных порывов самоотвержения. Им все равно, хорошо ли вы ели, хорошо ли спали, весело ли вам, здоровы ли вы, и они ничего не сделают, чтоб доставить вам эти удобства, ежели они в их власти; но стать под пулю, броситься в воду, в огонь, зачахнуть от любви — на это они всегда готовы, ежели только встретится случай. Кроме того, люди, склонные к любви самоотверженной, бывают всегда горды своею любовью, взыскательны, ревнивы, недоверчивы и, странно сказать, желают своим предметам опасностей, чтоб избавлять от них, несчастий, чтоб утешать, и даже пороков, чтоб исправлять от них.

Вы одни живете в деревне с своей женой, которая любит вас с самоотвержением. Вы здоровы, спокойны, у вас есть занятия, которые вы любите; любящая жена ваша так слаба, что не может заниматься ни домашним хозяйством, которое передано на руки слуг, ни детьми, которые на руках нянек, ни даже каким-нибудь делом, которое бы она любила, потому что она ничего не любит, кроме вас. Она видимо больна, но, не желая вас огорчить, не хочет говорить вам этого; она видимо скучает, но для вас она готова скучать всю свою жизнь; ее видимо убивает то, что вы так пристально занимаетесь своим делом (какое бы оно ни было: охота, книги, хозяйство, служба); она видит, что эти занятия погубят вас, — но она молчит и терпит. Но

вот вы сделались больны, — любящая жена ваша забывает свою болезнь и неотлучно, несмотря на ваши просьбы не мучить себя напрасно, сидит у вашей постели, и вы всякую секунду чувствуете на себе ее соболезнующий взгляд, говорящий: «Что же, я говорила, но мне все равно, и я все-таки не оставлю тебя». Утром вам немного получше, вы выходите в другую комнату. Комната не протоплена, не убрана; суп, который один вам можно есть, не заказан повару, за лекарством не послано; но, изнуренная от ночного бдения, любящая жена ваша все с таким же выражением соболезнования смотрит на вас, ходит на цыпочках и шепотом отдает слугам непривычные и неясные приказания. Вы хотите читать — любящая жена с вздохом говорит вам, что она знает, что вы ее не послушаетесь, будете сердиться на нее, но она уж привыкла к этому, — вам лучше не читать; вы хотите пройтись по комнате — вам этого тоже лучше не делать; вы хотите поговорить с приехавшим приятелем — вам лучше не говорить. Ночью у вас снова жар, вы хотите забыться, но любящая жена ваша, худая, бледная, изредка вздыхая, в полусвете ночника сидит против вас на кресле и малейшим движением, малейшим звуком возбуждает в вас чувства досады и нетерпения. У вас есть слуга, с которым вы живете уж двадцать лет, к которому вы привыкли, который с удовольствием и отлично служит вам, потому что днем выспался и получает за свою службу жалованье, но она не позволяет ему служить вам. Она все делает сама своими слабыми, непривычными пальцами, за которыми вы не можете не следить с сдержанной злобой, когда эти белые пальцы тщетно стараются откупорить стклянку, тушат свечку, проливают лекарство или брюзгливо дотрагиваются до вас. Ежели вы нетерпеливый, горячий человек и попросите ее уйти, вы услышите своим раздраженным, болезненным слухом, как она за дверью будет покорно вздыхать и плакать и шептать какой-нибудь вздор вашему человеку. Наконец, ежели вы не умерли, любящая жена ваша, которая не спала двадцать ночей во время вашей болезни (что она беспрестанно вам повторяет), делается больна, чахнет, страдает и становится еще меньше способна к какому-нибудь занятию и, в то время как вы находитесь в нормальном состоянии, выражает свою любовь самоотвержения только кроткой скукой, которая невольно сообщается вам и всем окружающим.

Третий род — любовь деятельная, заключается в стремлении удовлетворять все нужды, все желания, прихоти, даже пороки любимого существа. Люди, которые любят так, любят всегда на всю жизнь, потому что чем больше они любят, тем больше узнают любимый предмет и тем легче им любить, то есть удовлетворять его желания. Любовь их редко выражается словами, и если выражается, то не только не самодовольно, красиво, но стыдливо, неловко, потому что они всегда боятся, что любят недостаточно. Люди эти любят даже пороки любимого существа, потому что пороки эти дают им возможность удовлетворять еще новые желания. Они ищут взаимности, охотно даже обманывая себя, верят в нее и счастливы, если имеют ее; но любят всё так же даже и в противном случае и не только желают счастья для любимого

предмета, но всеми теми моральными и материальными, большими и мелкими средствами, которые находятся в их власти, постоянно стараются доставить его.

И вот эта-то деятельная любовь к своему племяннику, племяннице, к сестре, к Любови Сергеевне, ко мне даже, за то, что меня любил Дмитрий, светилась в глазах, в каждом слове и движении Софьи Ивановны.

Только гораздо после я оценил вполне Софью Ивановну, но и тогда мне пришел в голову вопрос: почему Дмитрий, старавшийся понимать любовь совершенно иначе, чем обыкновенно молодые люди, и имевший всегда перед глазами милую, любящую Софью Ивановну, вдруг страстно полюбил непонятную Любовь Сергеевну и только допускал, что в его тетке есть тоже хорошие качества. Видно, справедливо изречение: «Нет пророка в отечестве своем». Одно из двух: или действительно в каждом человеке больше дурного, чем хорошего, или человек больше восприимчив к дурному, чем к хорошему. Любовь Сергеевну он знал недавно, а любовь тетки он испытывал с тех пор, как родился.

*Л.Н. Толстой*

### Текст №3

#### **Что такое свобода?**

Чтобы ответить на этот вопрос, написаны сотни книг, и это объяснимо: свобода – понятие бесконечное. Оно принадлежит к высшим понятиям человека и потому принципиально не может иметь точного определения. Бесконечное не определимо в словах. Оно выше слов.

Сколько люди живут, они будут стараться понять, что же такое свобода, и стремиться к ней.

Полной социальной свободы нет нигде в мире, экономической свободы для каждого человека нет и, судя по всему, быть не может; но свободных людей – огромное множество. Как же это получается?

В слове «свобода» содержится два разных понятия, сильно отличающихся одно от другого. По сути, речь идет о совершенно разных вещах.

Философы, анализируя это трудное слово, пришли к выводу, что есть «свобода-от» – свобода от какого бы то ни было внешнего угнетения и принуждения – и есть «свобода-для» – внутренняя свобода человека для его самоосуществления.

Внешняя свобода, как уже говорилось, не бывает абсолютной. Но внутренняя свобода может быть беспредельной даже при самой трудной жизни.

В педагогике давно обсуждается свободное воспитание. Учителя этого направления стремятся дать ребенку внешнюю свободу в школе. Мы говорим о другом – о внутренней свободе, которая доступна человеку во всех

обстоятельствах, для которой не надо создавать специальных школ. Внутренняя свобода не зависит жестко от внешней. В самом свободном государстве могут быть зависимые, несвободные люди. В самом несвободном, где все так или иначе угнетены, могут быть свободные. Таким образом, воспитывать свободных людей никогда не рано и никогда не поздно. Мы должны воспитывать свободных людей не потому, что наше общество обрело свободу – это спорный вопрос, – а потому, что внутренняя свобода нужна самому нашему воспитаннику, в каком бы обществе он ни жил. Человек свободный – это человек, свободный внутренне. Как и все люди, внешне он зависит от общества. Но внутренне он независим. Общество может освободиться внешне – от угнетения, но стать свободным оно может лишь тогда, когда люди в большинстве своем будут внутренне свободны. Вот это и должно быть, на наш взгляд, целью воспитания: внутренняя свобода человека. Воспитывая внутренне свободных людей, мы приносим самую большую пользу и нашим воспитанникам, и стране, стремящейся к свободе. Здесь нет ничего нового; присмотритесь к лучшим учителям, вспомните своих лучших учителей – они все старались воспитывать свободных, потому они и запоминаются. Внутренне свободными людьми держится и развивается мир.

### **Что такое внутренняя свобода?**

Внутренняя свобода так же противоречива, как и свобода вообще. Внутренне свободный человек, свободная личность, в чем-то свободен, а в чем-то не свободен.

От чего свободен внутренне свободный человек? Прежде всего от страха перед людьми и перед жизнью. От расхожего общего мнения. Он независим от толпы. Свободен от стереотипов мышления – способен на свой, личный взгляд. Свободен от предубеждений. Свободен от зависти, корысти, от собственных агрессивных устремлений.

Можно сказать так: в нем свободно человеческое.

Свободного человека легко узнать: он просто держится, по-своему думает, он никогда не проявляет ни раболепства, ни вызывающей дерзости. Он ценит свободу каждого человека. Он не кичится своей свободой, не добивается свободы во что бы то ни стало, не сражается за свою личную свободу – он всегда владеет ею. Она дана ему в вечное владение. Он не живет для свободы, а живет свободно.

Это легкий человек, с ним легко, у него полное жизненное дыхание.

Каждый из нас встречал свободных людей. Их всегда любят. Но есть нечто такое, от чего действительно свободный человек не свободен. Это очень важно понять. От чего не свободен свободный человек?

От совести.

### **Что такое совесть?**

Если не понять, что же такое совесть, то не понять и внутренне свободного человека. Свобода без совести – ложная свобода, это один из видов тяжелейшей зависимости. Будто бы свободный, но без совести – раб дурных

своих устремлений, раб обстоятельств жизни, и внешнюю свою свободу он употребляет во зло. Такого человека называют как угодно, но только не свободным. Свобода в общем сознании воспринимается как добро.

Обратите внимание на важное различие: тут не сказано – не свободен от своей совести, как обычно говорят. Потому что совесть не бывает своя.

Совесть и своя, и общая. Совесть – то общее, что есть в каждом отдельно.

Совесть – то, что соединяет людей.

Совесть – это правда, живущая между людьми и в каждом человеке. Она одна на всех, мы воспринимаем ее с языком, с воспитанием, в общении друг с другом. Не нужно спрашивать, что же такое правда, она так же не выразима в словах, как и свобода. Но мы узнаем ее по чувству справедливости, которое каждый из нас испытывает, когда жизнь идет по правде. И каждый страдает, когда справедливость нарушается – когда попирается правда. Совесть, чувство сугубо внутреннее и в то же время общественное, говорит нам, где правда и где неправда. Совесть заставляет человека придерживаться правды, то есть жить с правдой, по справедливости. Свободный человек строго слушается совести – но только ее.

Учитель, цель которого – воспитание свободного человека, должен поддерживать чувство справедливости. Это главное в воспитании.

Никакого вакуума нет. Никакого госзаказа на воспитание не нужно. Цель воспитания одна на все времена – это внутренняя свобода человека, свобода для правды.

*С. Соловейчик*

#### Текст №4

Осколок снаряда порвал струны на скрипке. Осталась только одна, последняя. Запасных струн у музыканта Егорова не было, достать их было негде, потому что дело происходило осенью 1941 года на осажденном острове Эзеле в Балтийском море. Даже не на самом острове, а на небольшом его клочке – на косе Цераль, где советские моряки отбивали непрерывные атаки немцев.

Оборона этого полуострова войдет в историю войны как одна из ее величавых страниц. Он прославлен бесстрашием советских людей. Эти люди дрались до последней пули.

Налетали ветры, и беспокойно шумело море. Оно было блестящим и серым, как свежий разрез на свинце. Окончились северные летние ночи, но закаты, как всегда на Эзеле, медленно горели над водой, и сонно шумел сосновый лес, разросшийся на дюнах. Шум сосен не проникал в окопы. Его заглушали взрывы, свист бомб, визг мин и хватающий за сердце рев бомбардировщиков.

Война застала на Эзеле нескольких советских актеров – мужчин и женщин. Днем мужчины вместе с бойцами рыли окопы и отбивали немецкие атаки, а женщины перевязывали раненых и стирали бойцам белье. А ночью, если не

было боя, актеры устраивали концерты и спектакли на маленьких полянах в лесу.

«Хорошо, – скажете вы, – конечно, в темноте можно слушать пение или музыку (если актеры поют вполголоса, а музыканты играют под сурдинку, чтобы звуки не долетали до неприятеля), но непонятно, как актеры ухитрились разыгрывать спектакли в ночном лесу, где мрак плотнее, чем в поле или над открытой водой. Что в этом мраке могли увидеть зрители? Музыканты привыкли играть в темноте, но как же другие актеры?»

А они показывали морякам сцены из Шекспира, Чехова и «Профессора Мамлока» Фридриха Вольфа.

Но война и отсутствие света по ночам создали свои традиции и выдумки. Как только начинался спектакль, зрители наводили на актеров узкие лучи карманных электрических фонариков. Лучи эти все время перелетали, как маленькие огненные птицы, с одного лица на другое, в зависимости от того, кто из актеров в это время говорил. Но чаще всего лучи останавливались на лице молоденькой актрисы Елагиной и подолгу замирали на нем, хотя Елагина и молчала. В ее улыбке, в глазах каждый из моряков находил любимые черты, которые он давно, с первых дней войны, берег в самом надежном уголке сердца.

На Егорова зрители никогда не наводили лучи фонариков. Всегда он играл в темноте, и единственной точкой света, которую он часто видел перед собой, была большая звезда. Она лежала на краю моря, как забытый маяк. Ее не могли погасить залпы тяжелых батарей, не мог задушить желтый дым разрывов. Она сверкала, как напоминание о победе, неизменности мира, будущем покое, и, может быть, за это моряки и актеры полюбили эту звезду и прозвали ее «подругой».

Струны на скрипке были порваны, и Егоров больше не мог играть. На первом же ночном концерте он сказал об этом невидимым зрителям. Неожиданно из лесной темноты чей-то молодой голос неуверенно ответил:

– А Паганини играл и на одной струне...

Паганини! Разве Егоров мог равняться с ним, с великим музыкантом!

Егоров медленно прижал скрипку к плечу. Большая звезда спокойно горела на краю залива. Свет ее не мерцал, не переливался, как всегда. Звезда как будто притихла и приготовилась слушать музыканта. Егоров поднял смычок. И неожиданно одна струна запела с такой же силой и нежностью, как могли бы петь все струны.

Тотчас вспыхнули электрические фонарики. Впервые их лучи ударили в лицо Егорова, и он закрыл глаза. Играть было легко, будто сухие, легкие пальцы Паганини водили смычком по изуродованной скрипке. Слеза сползла из-под закрытых век музыканта, и в коротком антракте войны, в глухом лесу, где

пахло вереском и гарью, звенела и росла мелодия Чайковского, и от ее томительного напева, казалось, разорвется, не выдержит сердце.

Последняя струна действительно не выдержала силы звуков и порвалась. Она зажужжала, как шмель, и затихла. Сразу же свет фонариков перелетел с лица Егорова на скрипку. Скрипка замолчала надолго. И свет фонариков погас. Толпа слушателей только вздохнула. Аплодировать в лесу было нельзя – могли услышать немцы.

Я рассказываю подлинный случай. Поэтому напрасно читатель будет ждать ловко придуманной развязки. Она оказалась очень простой: Егоров умер. Он был убит через два дня во время ночного боя. Ему не на чем было играть, и он стал обыкновенным бойцом обыкновенной пехотной части.

Его похоронили в грубой песчаной земле, когда накрапывал дождь, море затянулось туманом. На ветвях сидели мокрые синицы. Они уже привыкли к свисту пуль и только удивленно попискивали, когда пуля ударяла в ствол дерева и с листьев сыпались брызги.

Скрипку Егорова бойцы положили в футляр, зашили в старое байковое одеяло и передали летчику, улетающему в Ленинград. Летчик сразу же набрал высоту, чтобы уйти от немецких зениток. Десятки огней вспыхивали за хвостом самолета.

В Ленинграде летчик отнес скрипку главному дирижеру Консерватории. Тот взял ее двумя пальцами, взвесил в воздухе и улыбнулся, – это была итальянская скрипка, потерявшая вес от старости и многолетнего пения.

– Я передам ее лучшему скрипачу нашего симфонического оркестра, – сказал летчику дирижер Консерватории.

Летчик – простой белобрысый парень – кивнул головой и улыбнулся.

Где теперь эта скрипка – я не знаю. Говорят, что она в Москве. Но где бы она ни была, она играет прекрасные симфонии, знакомые нам и любимые нами, как старое небо Европы, как слово Пушкина, Шекспира или Гейне. Она играет мелодии Чайковского, Шостаковича и Шапорина.

Звуки симфонии так могучи, что рождают ветер. Вы, должно быть, заметили, как он порывами налетает на вас со сцены, шевелит волосы, заставляет сердца слушателей дрожать от гордости за человека.

Поют сотни струн, поют гобои и трубы, – победа придет! Потому что не может не победить наша страна, где люди идут в бой, унося в душе звуки скрипичных песен, где так просто умирают за будущее скромные музыканты и где созданы могучие симфонии, потрясающие мир.

*К. Паустовский «Струна»*

Это было красивое утро...

Утреннее море. Синее и спокойное. Первые дни, как я приехал в детский санаторий Совет-Квадже на Черном море. Услышали гул самолетов...

Я нырнул в волны, но и там, под водой, был слышен этот гул.

Мы не испугались, а начали играть «в войну», не подозревая, что где-то уже идет война. Не игра, не военные учения, а война.

Через несколько дней нас отправили по домам. Я – в Ростов. На город уже падали первые бомбы. Все готовились к уличным боям: рыли щели, строили баррикады. Учились стрелять. А мы, дети, сторожили ящики, в которые складывали бутылки с зажигательной смесью, подвозили песок и воду на случай пожара.

Все школы превратились в госпитали. В нашей семидесятой школе размещался армейский полевой госпиталь для легкораненых. Туда направили маму. Ей разрешали и меня брать с собой, чтобы не оставался один дома.

А когда отступали – куда ехал госпиталь, туда ехали и мы.

После очередной бомбежки запомнил груды книг среди разбитого камня, подобрал одну, она называлась «Жизнь животных». Большая, с красивыми картинками. Всю ночь не спал, читал и не мог оторваться... Помню, что военные книжки я не взял, читать о войне уже не хотелось. А вот о животных, о птицах...

В ноябре сорок второго... Начальник госпиталя приказал выдать мне форму, правда, ее пришлось срочно перешивать. А сапоги на меня не могли найти целый месяц. Так я стал воспитанником госпиталя. Солдатом. Что делал? Одни бинты могли свести с ума. Их всегда не хватало. Приходилось стирать, сушить, скручивать. Попробуйте скрутить тысячу штук в день! А я наловчился еще быстрее взрослых. Ловко получилась и первая самокрутка... В день моего двенадцатилетия старшина с улыбкой вручил мне пачку махорки, как полноправному бойцу. Покуривал. Тихонько от мамы. Воображал, конечно. Ну... и страшно... Я с трудом к крови привык. Боялся обожженных. С черными лицами...

Когда разбомбили вагоны с солью и парафином, и то и другое в дело пошло. Соль – поварам, парафин – мне. Пришлось овладеть специальностью, не предусмотренной никакими воинскими списками – делал свечи. Это похуже бинтов! Моя задача – следить, чтобы свечи долго горели, ими пользовались, когда не было электричества. Врачи не прекращали операции ни под бомбежкой, ни под обстрелом. Ночью только закрывали окна. Завешивали простынями. Одеждами.

Мама плакала, а я все равно мечтал сбежать на фронт. В то, что меня могут убить, не верил. Послали однажды за хлебом... Чуть проехали, начался артобстрел. Били из минометов. Сержанта убило, возницу убило, меня контузило. Потерял речь, а когда через какое-то время заговорил, все равно осталось заикание. Оно и сейчас у меня есть. Все удивлялись, что я остался живой, а у меня было другое чувство – разве меня могут убить? Как это меня могут убить? Проехали мы с госпиталем всю Беларусь, Польшу... Я выучил польские слова...

В Варшаве... Среди раненых оказался чех – тромбонист Пражской оперы. Начальник госпиталя обрадовался ему и, когда тот пошел на поправку, попросил пройти по палатам, поискать музыкантов. Оркестр получился отличный. Меня научили играть на альте, на гитаре научился уже сам. Мы играли, а солдаты плакали. Играли мы веселые песни...

Так доехали до Германии...

В разбитом немецком поселке увидел: детский велосипед валяется. Обрадовался. Сел и поехал. Хорошо так идет! Я за войну ни одной детской вещи не видел. Забыл, что они где-то есть. Детские игрушки...

*С. А. Алексиевич*

### Текст №6

Война застала меня в санатории Совет-Квадже на Черном море. Утром пошли в лес, услышали гул самолетов и начали играть «в войну», не подозревая, что где-то уже идет настоящая война.

Через несколько дней нас привезли в Ростов. На город уже падали первые бомбы. Взрослые рыли щели, строили баррикады, готовясь к уличным боям... А мы, мальчишки, сторожили ящики, в которых были сложены бутылки с зажигательной смесью, подвозил песок и воду на случай пожара.

Все школы превратились в госпитали. В семидесятой школе размещался армейский госпиталь для легкораненых. И туда направили маму. Ей разрешили и меня взять с собой. Куда ехал госпиталь, туда ехали и мы.

После очередной бомбежки запомнил грудку книг среди раскрошенного камня, подобрал одну, она называлась «Жизнь животных». Большая, с красивыми картинками. Всю ночь не спал, читал и не мог оторваться... Попался бы сейчас Брем, купил, не задумываясь. Очень картинки помню...

В ноябре сорок второго начальник госпиталя приказал выдать мне форму, правда, ее пришлось срочно перешивать. А сапоги на меня не могли найти целый месяц. Так я стал воспитанником госпиталя. Что делал? Одни бинты могли свести с ума. Их не хватало. Приходилось стирать, сушить, скручивать. Попробуйте скрутить тысячу штук в день! А я наловчился делать то быстрее взрослых. Потому, наверное, так ловко получилась и первая самокрутка, когда старшина, пряча улыбку, вручил мне пачку махорки, как полноправному бойцу. Покуривал (смеется)... тихонько от мамы... Хотелось скорее стать мужчиной.

Когда разбомбили вагоны с солью и парафином, и то, и другое в дело пошло. Соль — поварам, парафин — мне. Пришлось овладеть специальностью, не предусмотренной никакими воинскими списками — делал свечи. Это похуже

бинтов! Надо ведь, чтоб они еще и горели...

Мама плакала, а я все равно мечтал сбежать на фронт. В то, что меня могут убить, не верил. Послали однажды за хлебом... Чуть проехали, начался артобстрел. Били из минометов. Сержанта убило, возницу убило, меня контузило. Долго не разговаривал, а когда вернулась речь, заикался.

А это уже в Польше... Среди раненых оказался чех — тромбонист Пражской оперы! Начальник госпиталя обрадовался ему и, когда тот пошел на поправку, попросил пройти по палатам, поискать музыкантов. Оркестр получился отличный. Меня научили играть на альте, на гитаре научился уже сам. Мы играли, а солдаты плакали... Может, поэтому и стал после войны музыкантом.

В разбитом немецком поселке увидел: велосипед валяется. Обрадовался. Сел и поехал. Хорошо так идет! Я за войну ни одной детской вещи не видел...

*С. А. Алексиевич*

### Текст №7

С возрастом утрачивается азарт и в чтении. Видимо, не ждуться уже те потрясающие, давние открытия, которые происходили при чтении «Робинзона Крузо», «Острова сокровищ», «Борьбы за огонь», «Всадника без головы» и «Робина Гуда», книг Гюго, Майна Рида, Фенимора Купера, не открывається дальняя земля, а может, и планета, где жили и озоровали похожие на тебя Томас Сойер и Гек Финн, где...

Ах, как много утрачивается из того, чему ты доверялся, чем восхищался в детстве, юности и былой обобранной до нитки молодости. Все чаще тянет перечитать что-нибудь из родной классики, еще и еще подивиться провидческому дару наших гениев: Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского. Ныне охотней читаются письма, дневники, статьи и книги о жизни и деяниях наших Великих соотечественников. Читая их, еще и еще поразишься и погорюешь о том, что вещие их слова не везде, не всеми услышаны и так мала отдача от их титанического труда. Все кажется, что они рано родились, не в то время мятежно и дерзко мыслили, шли на эшафот и костер за нас, за наше будущее. В дремучей тайге невежества, указуя нам просвет впереди, не напрасно ль они усердствовали и надрывались?

«Поэты не бывают праведниками, потому не бывают и отступниками. Проповедники и праведники должны быть всегда на высоте — таков их, извините, имидж. Столпник не может позволить себе кратковременного сошествия в кабак ради встречи со старым другом. А у поэта и „всемирный

запой“ случается. Поэт „бывает малодушно погружен в заботы суетного света и среди детей ничтожных мира бывает — всех ничтожней он...“ Поэт столь же мучительно противоречив, как сама жизнь, даже не столь, а более — в нем жизнь многократно усилена, увеличена, его подъемы выше среднечеловеческих, а спады тоже „не как у людей“. Поэт не исповедник, а сама исповедь. „Святой, обращаясь к нам, начинает сразу с небесной истины, а поэт — с земной правды“».

Эта длинная цитата из письма поэта Кирилла Ковальджи, помещенного в журнале «Континент». Марина Кудимова, поэтесса и довольно активный деятель на ниве современной, растерянно пятащейся культуры, написала и напечатала в «Континенте» № 72 статью, в которой довольно резко раскритиковала Владимира Высоцкого, а заодно и его предтечу, Великого русского поэта Сергея Есенина. Сделала она это напористо, уверенно, не без публицистического задора, обвинив и учителя, и ученика в расхристанности, не случайно-де их прибежищем сделался блатной мир.

Оно вроде и правильно. Сам я и мое поколение, в большинстве своем, приобщилось к Есенину, а затем следующее поколение — к Высоцкому через «тонное» пение солагерников и соокопников, через альбомчики тридцатых годов, а современники — через хрипачьи, ленту рвущие магнитофоны, зачастую не зная, чьи тут искаженные, но все равно певучие и складные стихи, чьи тут песни, выкрикиваемые хриплым голосом под гремящую гитару. Главное, думал я, и Ковальджи в своем письме так же подумал: люди, не читающие ничего, приобщались к поэзии. Пусть кому-то она покажется и грубой, и примитивной, и безыдейной, но через нее и через них, Есенина и Высоцкого, в мир поэзии отчалила и уплыла масса народу. Вполне может быть, что они, эти «темные» массы, как и я Майн Рида, не смогут ныне и не захотят больше читать кумиров своей юности — «прошли их», а читают Бодлера и Вийона, Тютчева и Ахматову, Рильке и Данта, Хименеса и Ду-фу — и помогай им Бог! А я вот говорил и говорю еще раз спасибо родному Никитину за хрестоматийный стишок «Звезды меркнут и гаснут», который стал для меня путеводной звездой в безбрежный, радугой-дугой светящийся, вечно волнующийся океан поэзии! Кто, что были бы мы без поэзии и музыки?

*В.П. Астафьев*